

КОГДА открылись спецхраны, Библиотека имени Ленина стала устраивать выставки «репрессированных» книг. На одной из них я вдруг увидела хорошо знакомую: «Г. Белых и Л. Пантелеев. Республика Шкид». Оказывается, эта столь популярная книга более двадцати лет, до конца 50-х, была запрещенной!

Феерическое вхождение авторов «Республики Шкид» в литературу многократно — в деталях — рассказано и переписано. Помните? Двое мальчишек, вчерашних беспризорников — одному 17, другому 19 — написали книгу о своем детском доме. Она вышла, и они попали в число самых популярных детских писателей. Но вот с дальнейшей судьбой их сложней. Даже Л. Пантелеев, при жизни нареченного классиком детской литературы. Тому свидетельство последняя его исповедальная книга с признанием: «Живешь — раздвоенный, ходишь по жизни двуликим Янусом...».

А что до Белых... Военный моряк И. И. Михайлов, мальчишкой, как и другие его ровесники и как мальчишки будущих поколений, зачитывавшийся «Республикой Шкид», в 1937 году был арестован. Он испытал шок, когда в тюремной камере в ленинградских «Крестах» ему сказали, что спящий под нарами человек в надвинутой на глаза кепке — автор его любимой книжки. Григорий Белых был арестован в начале 36-го. Вот она, банальная разгадка, почему «Республика Шкид» оказалась в спецхране. И отчего мы так мало знаем сегодня о самом Григории Белых. Не раз и не два случалось мне замечать своеобразный психологический казус: известное имя как бы заслоняло малоизвестное, и хотя на обложке неизменно стояли оба, читатели — иной раз люди, даже причастные к литературе! — связывали авторство книги с одним, хорошо знакомым: «Кто написал «Республику Шкид»? — «Л. Пантелеев».

Сам Л. Пантелеев к такой аберрации сознания не имел отношения. В пору остракизма его соавтора ему предлагали издать книгу только под своим именем. Он с возмущением это предложение отверг.

Когда Белых реабилитировали и после многолетнего перерыва «Республика Шкид» вышла вновь, Маршак написал к ней предисловие, упомянув с сожалением о том, что Григорий Белых «безвременно погиб, едва перешагнув 30 лет». Не стоит упрекать Маршак за это дипломатическое «безвременно погиб» — тогда, вероятно, иначе сказать было нельзя.

Но вот передо мной «Республика Шкид» 1988 года. И там в аннотации я читаю: «безвременно погиб». И все. И только.

Больше всех должен был сказать о Г. Белых и сказал Л. Пантелеев. В 1965 году в «Новом мире» Твардовского были опубликованы отрывки из его блокадного дневника:

«В ленинградской же земле покоится и Рая Белых. Но где, на каком кладбище, в какой братской могиле?»

Впрочем, я ведь не знаю, где, на каком кладбище, в какой яме лежит и сам Гриша. А ведь погиб он в блаженные мирные времена: в 1938 году. Умер он в тюремной больнице имени доктора Гааза... И там же: «Заходил в Дом веселых нищих, видел людей, повинных в Гришиной гибели...».

Дом веселых нищих — питерский дом на Измайловском проспекте, где вырос Григорий Белых. Он называл его так в своей автобиографической повести. Именно в этом доме, как вспоминал Л. Пантелеев, затворившись от мира, запасшись махоркой и хлебом, строили они свою «лихую мальчишескую повесть» — «Республику Шкид».

«Дом веселых нищих» Белых вышел в начале 30-х и имел успех. Перед арестом он готовил книгу к переизданию.

Пантелеев больше всех сказал о судьбе Белых. И все-таки меньше, чем мог, чем знал.

В его блокадных записках упоминалась дочь Белых, Таня, эвакуированная на Большую землю. Недавно, оказавшись в Ленинграде, теперь уже Санкт-Петербурге, я позвонила писательнице и критику Евгению Оskarовне Путиловой, автору известных книг о Л. Пантелееве и очерка о Белых для книги о репрессированных ленинградских литераторах. И вдруг: «А у меня Таня Белых».

Мы встретились с Татьяной Григорьевной — сначала в Петербурге, потом в Москве, где, оказывается, она и живет. Ее квартира в Отрадном — своеобразный музей Григория Белых. По крупинам, по разным сусекам искала и ищет она все, что связано с отцом. Глаза разбежались, когда я увидела «Республику Шкид», путешествующую во времени и пространстве, — на русском, испанском, немецком, английском, венгерском... Его «Шкидские рассказы», «Дом веселых нищих», «Холщевые передники» — последнюю прижизненную повесть. На форзаце надпись: «Любимому Алексею — один новый передничек». Книга из библиотеки Пантелеева. Они не стали

Ильфом и Петровым, общей была только первая книга, потом каждый стал искать себя в своем, но друзьями остались. И к Пантелееву кинется Рая, жена Белых, в трудную минуту: «Ленечка! После месячного перерыва узрела Гриньку, выглядит жутко, я боюсь, что он живым не выйдет...».

...Детские журналы 20-х годов с его рассказами и журналы более позднего времени с автографами, обращенными к его дочери.

«Я Вас никогда не видала. Но Вашего отца я помню хорошо. И написав статью, в которой с уважением и любовью упоминается его имя, я не могу не послать его Вам». — Лидия Чуковская. «Вопросы литературы», 1958 год. Судя по дате, Л. Чуковская первой публично сказала о Белых после десятилетий

ская агитация и пропаганда...

Оторопь от неожиданного поворота его судьбы, жалость, сочувствие соединились у знавших его с досадой: пеняли на легкомыслие, мальчишество. Он отвечал на это в письмах: «Все, что касается «зрелости», Армии спасения, мальчишества и пр. — в дальнейшей переписке опустим... Приятно мне знать, что Желдин (работник Детгиза, — Т. Я.) «тоже считает», что тюрьма исправит меня и «обогатит как писателя». Немножко удивительно мне ощущать такое дружное участие в моей судьбе, а главное, такое решительное, единодушное мнение о моей виновности. Я сам по правде нет-нет, а все думаю, что я меньше виноват, чем вы думаете».

Впрочем, за вычетом этих

«Таких, как я, и с намордником не велено подпускать к триумфальным аркам Питера»

— эти слова Григорий Белых, один из авторов знаменитой «Республики Шкид», написал другу незадолго до трагической гибели



молчания. Ей можно поклониться за многое. Поклонимся и за это.

...Когда отца арестовали, Тане было два года. «Так вы его совсем и не помните?» — «Помню. Мама брала меня с собой в тюрьму, помню решетку...» — Вот такие первые воспоминания детства.

— Пантелеев в блокадных записках упоминал, что видел людей, повинных в гибели Вашего отца...

— Да, это был наш родственник, муж папиной сестры. Они жили в нашем доме. Он донес на отца.

Это с детства не было для нее тайной. Об этом ей сказала мать, строго-настроено запретившая даже смотреть в их сторону: «Я это очень хорошо запомнила. Они перестали для меня существовать».

Донос был политический, а повод — самый что ни на есть коммунальный. У Григория Белых не оказалось денег уплатить за квартиру (жила семья трудно, пишущая машинка была для популярного писателя так и не осуществившейся мечтой), вот родственник — ответственный по квартире — и решил таким образом проучить его. Даже не верится, что так может быть. Но было же!..

Недавно Татьяна Григорьевна увидела дело своего отца. И в нем — предмет доноса. Тетрадка в линейку. Переписанная рукой отца песенка Питера на немецком языке (он увлеклся немецким) из модного фильма, слова старинного романа и — частушки. Иные сбоку отчеркнуты — видимо, криминал.

И наконец, высший криминал — стихотворение «Два великих». Диалог Петра I и Иосифа I со словами Петра: «...Сдаюсь, сдаюсь, Иосиф Первый».

Мою идею о канале, Вы, не жалея сил чужих, Весьма блестяще доковали. Я ж был идеями богат, Но не был так богат рабами.

Как же наивен он был, когда потом посылал кассации и просьбу о помиловании. За такой вот постскриптум к строительству Бельмокрана, которое дружно воспоют его братья по цеху, прощения быть не могло.

Кому из своих коллег он показывал свои контрреволюционные стихи? — спросили его. Ответ запротоколирован: «Мои произведения, имеющие контрреволюционное содержание, были невысокого литературного качества, вследствие чего я не читал их людям, разбирающимся во всех тонкостях литературного творчества».

«Дело» Белых осталось только «делом» Белых, и ничего больше.

Статья 58—10: антисовет-

упреков и разного рода смешивших его советов, которые давали люди с воли (типа: посоветоваться по поводу здоровья с хорошим специалистом — это в тюрьме-то! — или углубиться в Шекспира), он должен был чувствовать и, вероятно, чувствовал, что друзьями не предан. Приходил на свидания, писал в тюрьму и в колонию, посылал деньги, посылки верный Пантелеев. Не забывали друзья по Дому веселых нищих, чаще других Эма Эттин; некий Миша Шербаков специально для него собрал и послал в колонию приемник...

Он сам стал освобождать их от дружеских обязательств, понимая, что цена им может оказаться дорогой. «Частый обмен письмами может повредить тебе», — предупреждал Пантелеева. И от духовных терзаний на этот счет освобождал: «Т. к. сам не спешу с письмами, то заранее выдаю вексель — можешь отвечать когда вздумается».

Его больно задела слова Желдина о том, что тюрьма обогатит его как писателя. Но сам он тем не менее пытается внушить себе то же самое: что я видел, кроме Шкиды? А здесь такое богатство характеров...

Он пытается сочинять стихи, но выходят «тюремные, как кассации пишут», пытается писать рассказы — один о некоем старике Артемиде, другой детский, «потугосторонний», который хочется написать веселым... И наконец, отчаянное: «Тем много, сюжетники разные так и вьются, а изложить — увы! Притупилось перышко... Хочется такого нагородить, а на бумаге дребедень выходит».

Многим сокамерникам и товарищам по колониям он запомнится, как художник. Уступая их просьбам, рисовал портреты, иногда подрабатывая таким путем. Узнав, что стал выходить журнал «Юный художник», попросил прислать ему: «Судя по содержанию, он будет очень полезен такому юному художнику, как я». Кажется, прирожденное чувство юмора не оставляет его — он по-прежнему пытается острить. Но в островах в юморе все больше горечи: «Лучше смеяться, чем вешаться».

Надежды («...и все же, как псих, смотрю безумными очами только вперед, а впереди... ну, конечно, самое хорошее...») сменяются отчаянием. Одна мысль с течением времени все больше мучит его:

«Начинаешь жалеть, что не стал мошенником. Избежал бы многого, а главное, избежал бы вечного подозрения, от которого мне теперь никогда не избавиться».

«Трудно мне будет сунуться в Ленинград. Таких, как я, и с намордником не велено под-

пускать к триумфальным аркам Питера».

...От тоски начал учиться играть на баяне... Уже играю «Кирпичики» и танго «Голубой цветок». К выходу из ИТК на хлеб обеспечу себе и на пиво всегда заработаю».

Тюрьма в Ленинграде. По иронии судьбы человеком, отобравшим его на этап, окажется сын бывшего учителя математики в Шкиде. «Какова уха?» — напишет Пантелееву. Колония в Старой Руссе. В одном лице соединяет художника, фотографа, сторожа и уборщика. Потом — бригадник слабосильной бригады. И наконец, Тулебля — унылое серое небо, медные заборы и глина, глина, глина — всюду глина, чавкающая, чмокающая, вся в мелких, как пятачки, лужах. Такой она врежется ему в память — Тулебля, колония, где добывают и обрабатывают камень для канала Москва — Волга:

«У нас сейчас новый начальник работ, который умудряется спать по 4 часа, а в остальном кричит две фразы:

— Каналу нужен камушек, камушек!

— Работай, работай, работай, работай!

...Работать, по чести заявляю, надоело страшно. Как ни верти, а я 14 месяцев мантую... Без отдыха и срока. Одно хорошо, что срок тает. «От жаркой работы тает срок» — лозунг у нас такой есть».

И таила жизнь. К этому времени у него уже была обнаружена вторая стадия туберкулеза. При другой статье его должны были бы выпустить на свободу.

Круг завершит опять ленинградская тюрьма. После свидания Рая Белых пошлет то самое отчаянное письмо Пантелееву: «Боюсь, что он живым не выйдет. По-моему, ему просто жрать нечего, хотя он скрывает это от меня... Вся надежда на тебя, если можешь, выручи меня деньгами... Хотя мне и тяжело просить у тебя лучшего друга, чем ты, у него нет...»

Она металась, не зная, что предпринять. Пришла в голову безумная по наивности идея — послать Сталину вместе с письмом Гришину фотографию; он посмотрит и увидит: человека в таком состоянии нельзя держать в тюрьме!

«Мы собирались писать И. В. Сталину», — вспоминал Л. Пантелеев, — (и написал, просила, чтобы осужденного перевели из ленинградской тюрьмы в концлагерь. Ответ пришел уже после смерти Белых: отказать). Гриша просил нас не делать этого, в последнем письме, уже полубредовом, оборвавшемся на полфразе, он писал мне страшными приказаниями караульными: «Сталину писать не нужно, ничего не выйдет, время неподходящее».

Полуфраза была: «Все кончено...».

В 60-е годы Л. Пантелеев написал воспоминания о Маршаке, Шварце, Тырсе... Каза-лось, следующим будет — должен быть! — Белых. Но этого не случилось ни тогда, ни потом. Между тем — даже не зная, что в трудные дни он, рискуя сам, не оставил друга, — даже не зная этого, по одним только строчкам в блокадном дневнике можно догадаться, как дорога была ему эта судьба. Ну не мог он не рассказать о ней! Так отчего же откладывал? И — не успел!.. Конечно, человек не знает отпущенные ему сроки. А может быть, наученный жизнью, все ждал, когда придет время и в деле Белых будут поставлены все точки над «i»? Сам факт реабилитации этой точки не ставил. «Дело», как все подобные «дела», до недавних пор, как известно, хранилось в тайне. Ждал — и не дождался. А может быть, помня короткую оттепель 60-х, и не очень верил, что такое время придет?

Читаю в «Новом мире»: будут публиковаться «Дневники» Даниила Хармса. Вышла «Путина страстей» Николая Олейникова. Это все ленинградские «детгизовцы» современники Григория Белых, так же, как и он, надолго преданные забвению. Придет ли его черед? И выйдут собранные воедино его повести и рассказы, известные и, может быть, те, что неизвестны. Татьяна Григорьевна видела в «Деле» упоминание о рукописях неизвестных его повестей. «Поколение» и «Психологический обман»: «Где они? Я иду их по всем архивам. Опять поеду в Ленинград и буду искать».

Но есть и то, что искать не надо. В литературном архиве Л. Пантелеева — письма Г. Белых последних трагических двух лет. Без этих писем мы многого бы не узнали в его судьбе. Я приводила здесь строчки — письма, конечно, ждут публикации полностью. Такая редкая, почти невероятная возможность, услышать голос самого Григория Белых из того времени.

Письма эти Пантелеев хранил даже тогда, когда было опасно хранить их. Хранил долгие годы — и никогда никому не обмолвился об этом. О них узнали только после его смерти. И эти сохраненные и не обнародованные им письма — как последняя и незаконченная строка в дружбе двух мальчишек, написавших когда-то «Республику Шкид».

Т. ЯКОВЛЕВА.